

A black and white photograph of a person sitting on a wooden bench under a large tree, looking out over a landscape. The person is wearing a plaid shirt and dark pants. The tree is large and leafy, with its branches spreading out. The background shows a hazy, open landscape. The text is overlaid on the top half of the image.

ДЖОН НОУЛЗ

СЕПАРАТНЫЙ МИР



Настоящая сенсация!

Джон Ноулз
Сепаратный мир

«Издательство АСТ»

1959

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

Ноулз Д.

Сепаратный мир / Д. Ноулз — «Издательство АСТ»,
1959 — (Настоящая сенсация!)

ISBN 978-5-17-105520-2

Уютный мирок привилегированной закрытой школы-интерната накрыла тень Второй мировой войны, и все, что казалось в нем привычным и незыблемым, вдруг утратило ясность и однозначность... Между двумя друзьями – замкнутым, одаренным студентом Джином и спортсменом, настоящим сорвиголовой Финеасом – происходит собственная война, стирающая юношескую наивность и погружающая героев в мир реальности... «Сепаратный мир» – это история о взрослении, дружбе и предательстве, трусости и раскаянии!

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-105520-2

© Ноулз Д., 1959
© Издательство АСТ, 1959

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1 | 6 |
| Глава 2 | 12 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 15 |

Джон Ноулз Сепаратный мир

John Knowles
A SEPARATE PEACE

© John Knowles, 1959

© Перевод. И. Дорони́на, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

Би и Джимус благодарностью и любовью

Глава 1

Недавно я съездил в Девонскую школу, и она, как ни странно, показалась мне более новой, чем была пятнадцать лет назад, когда я в ней учился. И более спокойной, чем я ее помнил, более «прямоходящей» и строгой, с более узкими окнами и более блестящими деревянными панелями, словно для сохранности здесь все покрыли лаком. Впрочем, пятнадцать лет назад была война. Вероятно, в то время за школой не так хорошо следили, – возможно, лак, как и все остальное, уходил на военные нужды.

Не скажу, что мне очень понравился этот ее новый блеск, потому что теперь школа выглядела как музей, каковым она, в сущности, и была для меня, хотя мне очень этого не хотелось. Глубоко в душе, там, где чувство сильнее невысказанной мысли, я всегда ощущал, что Девонская школа начала свое существование в тот день, когда я в нее вошел, оставалась реальной и полной жизни, пока я в ней учился, и угасла как свеча в тот самый час, когда я ее покинул.

Тем не менее, вот она передо мной, сохраненная чьей-то заботливой рукой с помощью лака и воска. Сохранился вместе с ней, словно застоявшийся воздух в непроветриваемой комнате, и хорошо знакомый страх, который окружал меня и наполнял те дни так плотно, что я даже не осознавал его, ибо, не ведая иного состояния, вне этого страха, даже не догадывался о его присутствии.

Но теперь, обернувшись на пятнадцать лет назад, я с предельной ясностью увидел, в каком страхе жил тогда, и это, должно быть, означало, что за истекшее время мне удалось сделать нечто очень важное: избавиться от него.

Сейчас я слышал эхо того страха и ощущал буйную, безудержную радость, которая была его обратной стороной, аккомпанементом, и которая даже в те дни иногда прорывалась, освещая жизнь словно северное сияние на фоне черного неба.

Было два места, которые я хотел теперь увидеть. Оба – страшные, и увидеть я их хотел именно поэтому. Вот почему, позавтракав в гостинице «Девон», я пошел к школе. Стояло промозглое, не поддающееся определению время года ближе к концу ноября, сырой, словно жалующийся на судьбу ноябрьский день, когда становится заметным каждый комок грязи. К счастью, в Девоне такая погода случается редко – ледяные оковы зимы или лучезарные нью-гемпширские лета для него более характерны, – но в тот день шел дождь и дул унылый порывистый ветер.

Я шел по Гилмен-стрит, лучшей улице города. Дома здесь были красивыми и такими же необычными, какими я их помнил. Улицу окаймляли бережно осовремененные старые колониальные усадьбы с пристройками из натурального дерева в викторианском стиле и просторные, похожие на храмы дома в стиле Греческого Возрождения, как всегда впечатляющие и неприступные. Мне нечасто доводилось видеть, чтобы кто-нибудь в них входил или чтобы кто-то играл на лужайке перед ними, и даже открытое окно здесь было редкостью. Сейчас, с поникшим плющом на стенах и голыми плачущими деревьями вокруг, эти дома казались более элегантными и еще более безжизненными, чем обычно.

Как все старые добрые школы, Девонская не была огорожена стенами и воротами, а как бы естественно выростала из города, ее породившего. Поэтому, приблизившись к ней, я не испытал внезапности момента встречи; дома вдоль Гилмен-стрит начали становиться еще более неприступными, это означало, что я близко к школе, а потом – еще более опустошенными, и это означало, что я в школе.

Было начало дня, площадки и здания пустовали, поскольку все разошлись по спортивным занятиям. Ничто не отвлекало меня, пока я пересекал широкий двор, называвшийся Дальним выгоном, и шел к зданию, такому же краснокирпичному и пропорциональному, как все осталь-

ные здешние крупные здания, но увенчанному просторным куполом с колоколом под ним и украшенному часами и латинской надписью над входом, это был Первый учебный корпус.

Войдя через вращающуюся дверь, я оказался в мраморном вестибюле и остановился у подножия длинного марша белых мраморных ступеней. Хотя лестница была старой, ступеньки посередине стерлись неглубоко. Должно быть, мрамор обладал необычайной твердостью. Похоже, так оно и было скорее всего, хотя, насколько я помнил, мысль о его исключительной твердости никогда не приходила мне в голову. Удивительно, что я упустил такой важный факт.

Больше ничего примечательного я не заметил; это была, безусловно, та же лестница, по которой я ходил вверх-вниз минимум раз в день на протяжении всей своей девонской жизни. Она была такой же, как всегда. А я? Ну я, в отличие от лестницы, естественно, чувствовал себя повзрослевшим – с этого момента я начал оценивать свое эмоциональное состояние, чтобы понять, насколько необратимым было мое «выздоровление», – сделался выше ростом и крупнее. У меня теперь было больше денег, я стал успешнее и увереннее, чем тогда, когда призрак страха ходил за мной по этим ступеням.

Я развернулся и снова вышел на улицу. Двор был по-прежнему пуст, и я пошел в дальний конец школьной территории по широким гравиевым дорожкам между чопорными новоанглийскими вязами, стаями своей напоминавшими банкиров-республиканцев.

Девонскую школу иногда называют самой красивой школой Новой Англии, и даже в столь унылый день она оправдывала это звание. Ее красота складывалась из небольших упорядоченных пространств – просторный двор, деревья, три одинаковых спальных корпуса, кольцо старых зданий, – сосуществующих в общей гармонии. Но было ощущение, что разлад может начаться в любой момент, в сущности, он уже начался: к резиденции декана, безупречно-подлинному колониальному дому, был пристроен флигель с большим голым окном венецианского стекла. Возможно, когда-нибудь декан будет жить в доме, полностью сделанном из стекла, и чувствовать себя счастливым, как кулик. Все в Девоне медленно, постепенно менялось и медленно, постепенно приходило в соответствие с тем, что было раньше. Так что логично было предположить: если здания, деканы и расписание занятий могут, то и я смогу, меняясь, достичь гармонии. А может, сам того не зная, уже смог.

Я наверняка должен был понять это лучше, добравшись до второго места из тех, на которые приехал посмотреть. Поэтому я брел мимо строго пропорциональных краснокирпичных спальных корпусов, обвитых паутиной скинувшего листву плюща, через заброшенный участок города, вклинивавшийся на территорию школы ярдов на сто, мимо массивного спорткомплекса, в этот час заполненного учениками, но снаружи тихого, как монумент, мимо крытого спортивного манежа, который называли Клеткой, – помню, в первые недели своего пребывания в Девоне, наслушавшись загадочных упоминаний о Клетке, я решил, что это место суровых наказаний, – и наконец вышел на обширный участок земли, известный как игровые поля.

Девонская школа славилась как академическими успехами, так и спортивными достижениями своих учеников, поэтому игровые поля были просторными и за исключением этого времени года всегда многолюдными. Сейчас же они расстилались вокруг меня, пропитанные водой и пустые; жалко выглядевшие теннисные корты слева, гигантские поля для футбола, американского футбола и лакросса – в центре, справа – лес, а на дальнем конце, впереди – маленькая речушка, местонахождение которой отсюда можно было распознать лишь по нескольким голым деревьям, растущим вдоль берега. День был настолько серым и туманным, что противоположный берег, где находился маленький стадион, не просматривался.

Я пустился в длинный трудный путь через игровые поля и, только пройдя уже какой-то отрезок, обратил внимание, что мягкая земляная жижа непоправимо испортила мои городские туфли. Но я не остановился. Посередине поля образовались мелкие озера грязной воды, которые пришлось обходить, при этом уже совершенно утратившие свой вид туфли мерзко чавкали

каждый раз, когда я вытаскивал ногу из болота. На этом открытом месте ничто не защищало мое лицо от резких порывов мокрого ветра; в любое другое время я бы почувствовал себя дураком, хлюпающим по слякоти под дождем только для того, чтобы посмотреть на дерево.

Над речкой висел туман, поэтому, приблизившись к ней, я оказался отгороженным от всего, кроме самой реки и нескольких деревьев на берегу. Здесь ветер дул непрерывно, и я начал замерзать. Шляпы я не носил никогда, а на этот раз забыл и перчатки. Передо мной было несколько деревьев, смутно вырисовывавшихся сквозь мглу. Любое из них могло оказаться тем, которое я искал. Мне казалось невероятным, что здесь росли теперь и другие деревья, выглядевшие так же, как мое. По моим воспоминаниям, оно возвышалось над рекой как гигантский одинокий пик, грозный, словно артиллерийское орудие, и длинный, словно бобовый стебель. Тем не менее, вот она – редкая рощица, ни одно из деревьев в которой особой внушительностью не отличалось.

Шагая по мокрой, задубевшей от холода траве, я начал внимательно осматривать каждое из них и наконец узнал то, которое искал, по маленьким зарубкам на стволе, крупному суку, простершемуся над рекой, и тонкому отростку рядом. Это было то самое дерево, и оно напомнило мне о том, что мужчины, кажущиеся нам в детстве гигантами, много лет спустя оказываются не просто ниже ростом по сравнению с тобой выросшим, но маленькими безотносительно ко всему, съезжившимися от возраста. От такого двойного умаления бывшие гиганты превращаются в карликов.

Дерево было не просто голым, что естественно в это время года, оно словно бы устало от минувших лет, ослабело, высохло. Я был благодарен, очень благодарен за то, что повидался с ним. Чем дольше вещи остаются прежними, тем больше они в итоге меняются – *plus c'est la tete chose, plus ça change*. Ничто не вечно – ни дерево, ни любовь, ни даже память о насильственной смерти.

Внутренне изменившийся, я отправился обратно по грязи. Я промок насквозь, и было совершенно ясно, что пора мне укрыться от дождя в помещении.

Дерево было огромным, грозным, словно сделанным из черной вороненой стали шпилем, возвышавшимся над берегом реки. Провались я на месте, если подумаю о том, чтобы влезть на него. Да пошло оно к черту. Никому, кроме Финеаса, такая безумная идея и в голову прийти не могла.

Он же, естественно, не видел в этом ничего хоть сколько-нибудь пугающего. А если бы и видел, ни за что не признался бы. Не таков наш Финеас.

– Что мне больше всего нравится в этом дереве, – сказал он тем голосом, который был звуковым аналогом гипнотического взгляда, – так это то, что оно такое пустяковое! – Он выпучил свои зеленые глаза, уставившись на нас характерным маниакальным взглядом, и лишь самодовольная ухмылка, растянувшая его рот и смешно выпятившая верхнюю губу, убеждала в том, что он не окончательно свихнулся.

– Значит, именно это тебе нравится больше всего? – сказал я саркастически. В то лето я многое произносил саркастически, это было мое «саркастическое лето», лето 1942 года.

– Угу-й-ага, – ответил он. Это забавное новоанглийское междометие всегда смешило меня, и Финеас знал это, вот и на сей раз я не удержался от смеха, что снизило градус моего сарказма, а заодно и испуга.

С нами были еще трое – в те дни Финеас всегда ходил в компании числом с хоккейную команду, – и они, стоя рядом, переводили взгляд с него на дерево и обратно, стараясь не выдать своего страха. Вверх по вздымающемуся черному стволу, до солидного сука, нависавшего над берегом, шли грубые деревянные кольшки. Взобравшись на этот сук и приложив невероятное усилие, можно было прыгнуть в реку достаточно далеко, чтобы это не представляло опасности для жизни. Так говорили. По крайней мере, компании семнадцатилетних ребят это удавалось,

но у них было перед нами решающее преимущество в один год. Никто из средне-старших, как называли в Девонской школе выпускников предпоследнего класса высшей школы, никогда не пробовал это сделать. Естественно, Финеас решил стать первым и, опять же естественно, – подбить нас, остальных, тоже поучаствовать.

Строго говоря, мы даже еще не были средне-старшими, поскольку шел летний семестр, устроенный для того, чтобы, учитывая военное время, мы не отстали от школьной программы. Так что тем летом мы еще пребывали в шатком положении перехода от безропотных салаг к почти бывалым и уважаемым средне-старшим. Те, кто был классом старше нас, мальчишки предпризывного возраста, почти уже солдаты, рвались на войну, опережая нас. Они поступали на ускоренные курсы по программе оказания первой помощи и сколачивали отряды физического закалывания, которое включало в том числе и прыжки с этого дерева. Мы же пока невозмутимо и смиренно читали Вергилия и играли в пятнашки на берегу реки ниже по течению. Пока Финеасу не стукнула в голову мысль об этом дереве.

И вот мы, задрвав головы, глядели на него: трое с ужасом, один – с возбуждением.

– Кто первый? – последовал риторический вопрос Финеаса. Мы ответили лишь молчаливыми взглядами, и тогда он начал раздеваться, в конце концов сняв с себя все, до трусов. Для такого выдающегося спортсмена – даже будучи еще средне-младшим, он считался лучшим спортсменом школы – сложен был Финеас не слишком атлетически. Ростом он был с меня – пять футов восемь с половиной дюймов (до того как мы стали жить с ним в одной комнате, я всем говорил, что мой рост пять футов девять дюймов, но Финеас публично, со свойственной ему непоколебимой уверенностью, заявил: «Нет, мы с тобой одного роста – пять футов восемь с половиной дюймов. Ребята с левого фланга»), а весил на десять фунтов больше – сто пятьдесят фунтов, и вся его фигура, от ног до торса, плечевой пояс, бицепсы и мощная толстая шея представляли собой сплошной монолит силы.

Он начал карабкаться на дерево, цепляясь за колышки, прибитые к стволу. Мускулы его спины работали, как у пантеры. Колышки казались недостаточно прочными, чтобы выдержать его вес. Но наконец Финеас перешагнул на сук, простиравшийся ближе к воде.

– Отсюда прыгают? – спросил он. Никто из нас не знал. – Если я это сделаю, вы все должны будете повторить, договорились? – Мы пробормотали нечто нечленораздельное. – Ну, – крикнул он, – это мой вклад в оборону! – И, оттолкнувшись, прыгнул, пролетел через кончики нижних ветвей и плюхнулся в воду.

– Здорово! – крикнул он, наконец вынырнув и качаясь над поверхностью воды; мокрые волосы смешно облепили его лоб. – Это было самое большое удовольствие за прошедшую неделю. Кто следующий?

Следующим был я. При виде дерева меня всего, до кончиков пальцев, в которых ощущалось покалывание, окатило волной страха. В голове образовалась какая-то неестественная пустота, и неясный шелест соседнего леса стал доноситься как будто сквозь заглушающий фильтр. Должно быть, я впадал в состояние легкого шока. Отгороженный им от окружения, я снял одежду и начал карабкаться вверх по колышкам. Не помню, чтобы я что-нибудь говорил. На самом деле сук, с которого прыгнул Финеас, был тоньше, чем казался снизу, и расположен гораздо выше. По нему невозможно было пройти достаточно далеко, чтобы точно оказаться над водой. Поэтому, если ты не хотел упасть на мелководье рядом с берегом, нужно было сильно оттолкнуться и выпрыгнуть далеко вперед.

– Ну, давай! – понукал меня снизу Финни. – Хватит там красоваться.

Автоматически я отметил про себя, что вид отсюда открывался впечатляющий.

– Когда торпедируют транспортное судно, – кричал Финни, – нельзя стоять и любоваться природой. Прыгай!

И что я делаю здесь, на этой верхотуре? Почему позволил Финни уговорить меня совершить эту глупость? Неужели он начинает иметь власть надо мной?

– Прыгай!

С таким ощущением, словно швыряю прочь свою жизнь, я прыгнул в никуда. Кончики нижних ветвей оцарапали меня на лету, потом я рухнул в воду. Мои ноги коснулись мягкого ила на дне, и уже в следующий момент я, вынырнув на поверхность, услышал поздравления. Чувствовал я себя отлично.

– Думаю, ты прыгнул лучше, чем Финни, – сказал Элвин Лепеллье, известный под кличкой Чумной, с таким видом, словно вызывал на спор каждого.

– Не спеши, парень, – ответил ему Финни своим сердечным проникновенным голосом, который он извлекал из своей груди, как из звучного духового инструмента. – Не начинай раздавать награды, пока дистанция не пройдена до конца. Дерево ждет.

Чумной решительно, словно навсегда, закрыл рот. Он не стал ни спорить, ни отказываться. Не отступил. Он просто сделался как неживой. Зато двое других, Чет Даггласс и Бобби Зейн, пустили в ход все свое красноречие: они громко сетовали на школьные правила, на опасность схлопотать желудочную колику или такое увечье, о каком прежде никто и не слыхивал.

– Значит, только ты, приятель, – наконец сказал Финни, обращаясь ко мне. – Только ты и я.

Мы с ним пустились в обратный путь через игровые поля в почтительном сопровождении остальных – вроде двух сюзеренов¹.

В тот момент мы были с Финнеасом лучшими друзьями.

– Классно ты прыгнул, – добродушно сказал Финни и добавил: – после того как я тебя пристыдил и заставил.

– Никого ты не пристыдил и не заставил.

– Нет, заставил. Я тебе нужен в таких ситуациях. Иначе ты вечно норовишь увильнуть.

– Я никогда в жизни ни от чего не увильнул! – крикнул я с тем бóльшим негодованием, что это было правдой. – Ты чокнутый!

Финнеас, в своих белых кедах, безмятежно шел, или, скорее, даже парил, катился вперед с такой неосознанной плавностью движения, что слово «шел» здесь не подходило.

Я шагал рядом с ним через огромные игровые поля к спорткомплексу. Пышный зеленый дерн под ногами был тронут росой, а впереди виднелась легкая зеленая дымка, висевшая над травой и пронизанная насквозь солнечным мерцанием. Финнеас внезапно замолчал, и в тишине стали слышны стрекот кузнечиков, предзакатное пение птиц, артиллерийская канонада школьного грузовика, едущего по пустой беговой дорожке в четверти мили от них, взрыв смеха от задней двери спорткомплекса, а затем, поверх всех этих звуков, равнодушный матриархальный звон колокола из-под купола Первого корпуса, оповещавший о времени: шесть часов – самый равнодушный, самый всепроникающий колокол в мире, благовоспитанный, невозмутимый, непобедимый и окончательный.

Колокольный звон плыл над роскошными кронами вязов, над широкими покатыми крышами и грозными дымоходами спальных корпусов, над узкими и острыми верхушками старых домов, под просторным нью-гемпширским небом – прямо к нам, возвращавшимся с реки.

– Надо поторопиться, чтобы не опоздать на ужин, – сказал я, переходя на то, что Финни называл моим «вест-пойнтским шагом». Не то чтобы Финнеас как-то особо не любил Вест-Пойнт или власти в целом, он просто считал любую власть неизбежным злом, противодействие которому доставляет огромное удовольствие, а себя – своего рода баскетбольным щитом, возвращающим все оскорбления, которые она ему наносила. Мой «вест-пойнтский шаг» он терпеть не мог; его правая ступня мелькнула в воздухе, и я на полном ходу нырнул носом в траву.

– А ну, свали с меня свои сто пятьдесят фунтов! – заорал я, потому что он сидел у меня на спине. Финни встал, добродушно похлопал меня по затылку и двинулся дальше через поле,

¹ Сюзерен (от фр. *suzerain*) – крупный феодальный правитель. (Здесь и далее примеч. пер.)

не соизволив даже обернуться, чтобы не пропустить мою контратаку, а полагаясь лишь на свой сверхчувствительный слух и способность, не глядя, чуют приближение сзади. Когда я бросился на него, он легко сделал шаг в сторону, но, пролетая мимо, я все же успел лягнуть его ногой. Он поймал меня за эту самую ногу, и между нами состоялась короткая борцовская схватка на дерне, которую он выиграл.

– Ты бы лучше поторопился, – сказал он, – а то тебя посадят на гауптвахту.

Мы снова двинулись вперед, теперь быстрее; Бобби, Чумной и Чет, уйдя вперед, махали нам – мол, ради бога, поскорей; так Финneas снова поймал меня в свою самую надежную ловушку: я вдруг оказался соглашателем. Пока мы быстро шагали рядом, я внезапно почувствовал отвращение к колоколу, к собственному «вест-пойнтскому шагу», к этой поспешности и к своему соглашательству. Финни был прав. И существовал лишь один способ показать ему это. Я толкнул его бедром, застав врасплох, и он вмиг очутился на земле, явно довольный. Поэтому-то он меня так и любил. Когда я прыгнул на него, упершись ему в грудь коленями, ему больше ничего и не надо было. Мы более-менее на равных боролись некоторое время, а потом, когда он уже был уверен, что на ужин мы опоздали, оторвались друг от друга.

Пройдя мимо спорткомплекса, мы направились к первой группе спальных корпусов, темных и молчаливых. В летнее время в школе нас оставалось всего сотни две, недостаточно, чтобы заполнить большую часть помещений. Миновав распластаный пустующий директорский дом – директор где-то выполнял какое-то задание по поручению вашингтонского правительства, – часовню, тоже пустующую, поскольку она использовалась лишь по утрам, и то очень недолго, Первый учебный корпус, в котором тусклый свет был виден лишь в нескольких из его многочисленных окон, там, где преподаватели продолжали работать в своих классных комнатах, мы спустились по короткому склону на широкий, идеально подстриженный газон Дальнего выгона, свет на него падал лишь от окружавших его георгианских зданий. С десятков мальчиков, поужинав, слонялись по траве и болтали под аккомпанемент звона посуды, доносившегося из кухни, которая располагалась в крыле одного из зданий. По мере того как постепенно темнело небо, в спальных корпусах и старых домах загорались огни; где-то далеко громко играл патефон: не доиграв до конца «Не сиди под яблоней», он сменил пластинку на «Либо слишком молоды, либо слишком стары», потом проявил более изысканный вкус – зазвучал «Варшавский концерт»², потом сюита из балета «Щелкунчик», а потом патефон замолчал.

Мы с Финни отправились в свою комнату и принялись в желтом свете настольных ламп выполнять домашнее задание по Гарди: я уже наполовину прочел «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», он продолжал неравную борьбу с романом «Вдали от обезумевшей толпы», поражаясь тому, что могут существовать люди, которых зовут Габриэль Оук и Батшеба Эвердин. Наше незаконное радио, работавшее так тихо, что ничего невозможно было разобрать, передавало новости. Снаружи был слышен шелест раннелетнего ветерка; старшие, которым позволялось возвращаться позже, чем нам, очень тихо прошмыгивали в дом под десять величественных ударов колокола. Мальчики пробегали мимо нашей двери, направляясь в ванную, и в течение некоторого времени было слышно, как из душа непрерывно лилась вода. Потом по всей школе начали быстро гаснуть огни. Мы разделись, я натянул какую-то пижаму, а Финни, где-то слышавший, что это «не по-военному», пижаму надевать не стал. На какое-то время установилась тишина, что означало: мы читаем молитву. И на этом тот летний школьный день закончился.

² «Варшавский концерт» для фортепьяно с оркестром был написан английским композитором Ричардом Эддинселлом (1904–1977) в стиле Рахманинова для фильма «Опасная луна» (1941).

Глава 2

Наше отсутствие на ужине не осталось незамеченным. На следующее утро – чисто вымытое, сияющее летнее северное утро – мистер Прадомм остановился возле нашей двери. Он был широкоплеч, угрюм и всегда носил серый деловой костюм. Мистер Прадомм отнюдь не отличался тем небрежным, «британским» видом, какой имели почти все преподаватели Девонской школы, потому что был приглашен на время, только на лето. Он следил за соблюдением школьных правил, которые твердо усвоил; отсутствие на ужине было нарушением одного из них.

Финни объяснил, что мы плавали в реке, потом у нас был борцовский поединок, потом начался такой закат, каким невозможно было не залюбоваться, потом нужно было повидаться по делу с несколькими друзьями... Он говорил и говорил, его голос плыл по воздуху, извлекаемый из глубокого резонатора его груди, глаза время от времени расширялись, посылая зеленые вспышки через всю комнату. Стоя в тени, на фоне ярко освещенного окна за спиной, он, загорелый, сиял здоровьем. Глядя на него и слушая его бессвязно-красноречивые объяснения, мистер Прадомм быстро ослаблял свою суровую хватку.

– Если вы не пропустили девять приемов пищи за последние две недели... – вклинился было он.

Но Финни не желал упускать своего преимущества. Не потому, что добивался прощения за пропущенный ужин – это его как раз ничуть не интересовало, он бы, скорее, порадовался наказанию, если бы оно было назначено в какой-нибудь новой, ранее неведомой форме. Он продолжал эксплуатировать свое преимущество потому, что видел: мистеру Прадомму это нравится, пусть и против его собственной воли. Наставник с каждой минутой все больше утрачивал свою официальную позу, и не исключено, что при достаточной настойчивости со стороны Финеаса между ними вот-вот установилось бы безотчетное дружеское расположение, а это являлось одним из тех состояний души, ради которых Финни, собственно, и жил.

– Но настоящая причина, сэр, заключается в том, что нам нужно было спрыгнуть с дерева. Вы знаете это дерево... – И мне, и наверняка мистеру Прадомму, и Финни, если бы он на секунду остановился и подумал, было прекрасно известно, что прыгать с дерева было запрещено еще строже, чем пропускать еду. – Мы, естественно, должны были это сделать, – продолжал, тем не менее, Финни, – потому что мы все готовимся идти на войну. Что, если призывной возраст снизят до семнадцати лет? И Джину, и мне в конце лета исполнится семнадцать, что очень удобно, поскольку к тому времени начнется новый учебный год, и ни у кого нет сомнений относительно того, кто в какой класс пойдет. Чумному Лепеллье уже семнадцать; если не ошибаюсь, он будет подлежать призыву еще до окончания следующего учебного года и станет уже «старшим», – понимаете? – и после выпускного класса будет подлежать призыву. Но с нами, с Джином и со мной, все в порядке, в абсолютном порядке. И речи быть не может о том, чтобы мы не подчинялись безоговорочно и полностью всему, что происходит и что предстоит. Все зависит исключительно от дня рождения, если не углубляться в проблему и не рассматривать ее с сексуальной точки зрения, о чем я сам никогда и не помышлял, потому что это дело моей мамы и моего отца, и у меня никогда даже желания не возникало особо задумываться об их интимной жизни...

Все, что говорил Финни, было хоть и чудовищно сумбурным, но правдивым и искренним, и он очень удивлялся, если его речи ошарашивали собеседника.

Мистер Прадомм выдохнул, издав при этом легкий удивленный смешок, какое-то время смотрел на Финни, и все – вопрос оказался закрыт.

Тем летом наставники были склонны обращаться с нами именно так. Казалось, что их обычное состояние хронического неодобрения меняется. Зимой большинство из них воспринимало любое необычное поведение ученика с подозрительностью, все, что мы говорили и

делали, казалось им потенциально незаконным. Теперь, в эти нью-гемпширские ясные июньские дни, они, похоже, расслабились, видя, что половину времени мы проводим у них на глазах и лишь половину используем для того, чтобы их дурачить. Склонность к терпимости ощущалась совершенно явно; Финни решил, что они начинают обнаруживать похвальные признаки зрелости.

Отчасти это было его заслугой. Преподавательский состав Девонской школы никогда прежде не сталкивался с учеником, в котором сочетались бы невозмутимое игнорирование правил с обаятельным стремлением слыть хорошим, с учеником, который, казалось бы, искренне и глубоко любит школу, но особенно тогда, когда нарушает ее распорядок, с образцовым мальчиком, который чувствует себя уютней всего в углу для прогульщиков. Не сумев справиться с Финеасом, учителя сдались, а заодно ослабили хватку и на всех нас.

Но существовала и другая причина. Думаю, мы, шестнадцатилетние мальчики, напомнили им о мирных временах. Нас ставили на военный учет без призывной комиссии и медицинского освидетельствования. Никто никогда не проверял нас на дальтонизм и на грыжу. Травмы коленей и прокол барабанных перепонки были жалобами, не достойными внимания, и не являлись изъятиями, отделявшими меньшинство от участия остальных. Мы были беспечны, необузданны и, полагаю, являли собой свидетельство той жизни, которую всем так хотелось сохранить, несмотря на войну. Так или иначе, учителя были теперь более снисходительны по отношению к нам, чем когда-либо прежде; все свое внимание они обратили на старших, направляя, формируя и вооружая их для войны. За нашими играми они наблюдали спокойно. Мы напоминали им о том, что такое мир, о молодых жизнях, не обреченных на гибель.

Финеас был сутью этого беспечного мира. Хотя нельзя было сказать, что его совершенно не интересовала война. После ухода мистера Прадомма он начал одеваться, при этом он просто хватал вещи, до которых мог дотянуться, – некоторые из них были моими. Потом он постоял, задумавшись, и подошел к комоду. Достал из ящика и хорошо скроенную рубашку из плотной тонкой ткани, ярко-розовую.

– Это еще что такое? – спросил я.

– Это скатерть, – произнес он уголком рта.

– Перестань. Что это?

– Это, – с оттенком гордости ответил он, – будет моей эмблемой. Мама прислала мне ее на прошлой неделе. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное и такого же цвета? Она даже без застежки внизу. Ее нужно надевать через голову, вот так.

– Через голову? Розовая? Ты в ней выглядишь как гомик!

– Правда? – переспросил он тем тоном, каким говорил всегда, когда думал о чем-то более интересном, нежели то, что сказал ты. Однако его ум всегда фиксировал услышанное, и в соответствующий момент он это вспоминал; вот и сейчас, застегивая пуговицы на воротнике рубашки, он спокойно произнес:

– Интересно, что будет, если все примут меня за гомика?

– У тебя точно не все дома.

– Ну что ж, если поклонники начнут барабанить в дверь, можешь сказать им, что я ношу это как эмблему. – Он повернулся ко мне, чтобы дать возможность полюбоваться. – Я на днях прочел в газете, что мы впервые бомбили Центральную Европу. – Только тот, кто знал Финеаса так же хорошо, как я, мог понять, что он вовсе не сменил тему. И я молча ждал, какую фантастическую связь он установит между этой информацией и своей рубашкой. – Так вот, мы должны что-то сделать, чтобы отпраздновать это событие. Флага у нас нет, и мы не можем гордо вывесить из окна Доблесть Прошлого³. Поэтому я намерен носить это как эмблему.

³ Old Glory (англ.) – название государственного флага США. Происходит от названия конкретного флага, который 10 августа 1831 года был вручен капитану брига «Чарлз Даггетт» У. Драйверу в городе Сейлем, штат Массачусетс. При подъеме флага

И он носил. Никто другой во всей школе не мог бы позволить себе такого, не рискуя, что рубашку сорвут, дернув со спины. Когда самый суровый из наставников летнего семестра, старый мистер Пэтч-Уизерс, подошел к нему после урока истории и поинтересовался, что значит эта рубашка, я своими глазами увидел, как его испещренное морщинами, но румяное лицо становилось еще более розовым от удовольствия по мере того, как Финни объяснял ему символическое ее значение.

Это был своего рода гипноз. Я начинал верить, что Финеас способен выпутаться из любой передраги, оставшись безнаказанным, и не мог немного не завидовать ему, что было совершенно нормально. В том, чтобы немного завидовать даже лучшему другу, нет ничего плохого.

В середине дня мистер Пэтч-Уизерс, который временно, на летний семестр, замещал директора, предложил устроить традиционное чаепитие для нашего класса. Оно состоялось в пустующем директорском доме, и жена мистера Пэтч-Уизерса вздрагивала каждый раз, когда чья-нибудь чашка стучалась о блюдо. Мы сидели на застекленной веранде, которая одновременно была чем-то вроде зимнего сада, – просторной, сырой и не сильно загроможденной растениями. А те, которые там все же росли, представляли собой огромные стебли с крупными листьями без цветов, словно доисторические. Шоколадно-коричневая плетеная мебель издавала угрожающий хруст, и мы, три с половиной десятка учеников, неловко перемешивая чай в чашках, стояли посреди этих плетей с листьями и отчаянно старались, поддерживая разговор, не выглядеть в присутствии четырех наставников и их жен такими же пустомелями, какими нам казались они.

По такому случаю Финеас смазал волосы специальной жидкостью и причесал. От этого они лоснились и резко контрастировали с простодушно-удивленным выражением, которое он придал своему лицу. Уши у него – я никогда прежде не замечал этого – были очень маленькими и плотно прижатыми к голове, а крупный нос и широкие скулы в сочетании с набриолиненными волосами делали его лицо похожим на нос корабля.

Он один держался совершенно раскованно и завел речь о бомбардировках Центральной Европы. Никто из нас об этом ничего не слышал, а поскольку Финеас не мог точно вспомнить, какая именно цель и в какой стране подверглась воздушной атаке, были это американские, британские или русские самолеты и даже в какой день он прочел в газете эту новость, то «дискуссия» носила сугубо односторонний характер.

Но это не имело никакого значения. Важно было событие само по себе. Однако в какой-то момент Финни почувствовал, что надо дать слово и другим.

– Я думаю, мы должны вышибить из них дух своими бомбардировками, но не должны подвергать опасности женщин, детей и стариков. Вы согласны? – Он обращался к миссис Пэтч-Уизерс, нервно ерзавшей около своего электрического самовара. – А также больницы, – продолжил он, – и, естественно, школы. И церкви.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.